
Среди неясных моментов дуэльной истории Пушкина особое место занимает эпизод, происшедший 23 ноября 1836 года. В этот день, в четвертом часу пополудни, состоялась необычная, не предусмотренная этикетом аудиенция: поэт Александр Пушкин был принят императором Николаем I в его личном кабинете в собственном его величества дворце.

Эта аудиенция, с тех пор как запись о ней обнаружил в камер-фурьерском журнале П. Щеголев¹, всегда поражала своей таинственностью.

Станным было прежде всего то, что биографы ничего не знали о ней до 1928 года. Ни в одном из рассказов современников о ноябрьской истории нет сведений об этом событии. Никто из близких Пушкину людей не обмолвился ни словом о приеме во дворце. Вяземский, правда, упомянул в разговоре с П. Бартевым о некоей беседе поэта с государем, состоявшейся в ноябре, но из контекста создавалось впечатление, что это была какая-то случайная встреча. Не сохранилось также никаких свидетельств о том, что император кому-нибудь говорил об этой своей беседе с

С. АБРАМОВИЧ

К ИСТОРИИ ДУЭЛИ ПУШКИНА

**(АУДИЕНЦИЯ ВО ДВОРЦЕ
23 НОЯБРЯ 1836 ГОДА)**

¹ П. Е. Щеголев, Царь, жандарм и поэт. Новое о дуэли Пушкина, «Огонек», 1928, № 24. Перепечатано в кн.: П. Е. Щеголев, Из жизни и творчества Пушкина, ГИХЛ, М.—Л. 1931, стр. 140 и далее.

Пушкиным, между тем как об аудиенции 1826 года он рассказывал многим.

Такое умолчание вряд ли было случайным. Это одна из загадок ноябрьской истории, которая пока не получила никакого разъяснения.

До недавнего времени считалось, что Пушкин был вызван во дворец после того, как Николаю I стало известно письмо, которое поэт написал Бенкендорфу 21 ноября.

Как известно, 21 ноября 1836 года Пушкин написал два письма, которые могли сделать этот день поворотным в его судьбе. Первое из них, негодующее и донельзя оскорбительное, предназначалось барону Геккерну. Будь это письмо отправлено, оно неминуемо должно было привести к дуэли. Второе — сдержанное, официальное — было адресовано графу Бенкендорфу. В нем Пушкин прямо и недвусмысленно заявлял, что анонимный пасквиль — дело рук господина Геккерна. Письмо это, если бы оно стало известно в обществе, должно было повергнуть в грязь его врагов. Брошенные в нем обвинения: Геккерну в составлении анонимных писем, а Дантесу в том, что он своим сватовством избавил себя от поединка, — ложились клеймом бесчестия на обоих.

Мы знаем, что ноябрьское письмо к Геккерну не было отправлено¹. Судьба второго письма долгое время оставалась неясной. Щеголев считал, что письмо было отослано и после того, как Бенкендорф доложил о нем царю, Пушкина тотчас же вызвали во дворец, чтобы предотвратить скандал и заставить его замолчать.

Уверенный в том, что события развивались именно в такой последовательности, Щеголев полагал, что в личной беседе с государем Пушкин говорил о том же, о чем он только что известил правительство письменно. «Надо думать, — писал он, — что Пушкин осведомил царя о своих семейных обстоятельствах, о дипломе.. и об Геккерне — авторе диплома. Результаты свидания? Они ясны. Пушкин был укрощен, был вынужден дать слово молчать о Геккерне »²

Гипотеза Щеголева была принята всеми биографами поэта. Однако она оставляла без объяснений целый ряд психологических несообразностей.

В частности, исследователи не обратили внимания на то, что вся эта гипотетически сконструированная ситуация была бы нестерпимо унижительной для Пушкина и что такой разговор, если бы он состоялся, был бы для него не менее оскорбителен, чем самый факт

¹ См.: Пушкин, Письма последних лет. 1834—1837, «Наука», Л. 1969, стр. 162—165, 200—204, 336.

² П. Е. Щеголев, Из жизни и творчества Пушкина, стр. 146.

получения анонимных писем Мог ли он допустить, чтобы поведение его жены подвергалось обсуждению в его присутствии императором и Бенкендорфом? В этом случае аудиенция не могла бы ни успокоить, ни тем более «укротить» Пушкина — особенно в том состоянии, в каком он был тогда.

В научно-популярных биографических работах — в том числе и наиболее удачных — можно прочесть самые неожиданные суждения об этой аудиенции. Например, по мнению Л. Гроссмана, беседа во дворце закончилась тем, что царь обещал поэту взять на себя расследование дела, «пока же связал его словом не прибегать к новой дуэли без «высочайшей» санкции»¹. Это звучит уж совсем странно: как будто возможно было получить у Николая I «санкцию» на дуэль!

Но вот недавно, благодаря счастливой находке пушкинских рукописей из архива П. Миллера, кое-что прояснилось, так как в этих бумагах был обнаружен беловой автограф письма к Бенкендорфу. Теперь нам совершенно ясно, что и это письмо Пушкин не отправил по назначению. Н. Эйдельман, проанализировавший все дошедшие до нас свидетельства об этом документе, убедительно доказал, что письмо, написанное 21 ноября, попало в руки Бенкендорфу только после смерти поэта — 11 февраля 1837 года².

Теперь, зная, что письмо Пушкина не дошло до властей в те ноябрьские дни, мы с полным основанием можем утверждать, что гипотеза Щеголева о причинах и целях аудиенции во дворце была ошибочной.

Роль этого важного эпизода в преддуэльных событиях до сих пор остается неясной.

1

Аудиенция во дворце, несомненно, была связана с той острой ситуацией, которая возникла 21 ноября 1836 года.

В тот день, один из самых черных в своей жизни, Пушкин решил на смертный поединок. Именно этим объясняется характер его письма к Геккерну, составленного так, что оно не ославляло его противникам никакого иного исхода, кроме дуэли на самых

¹ Леонид Гроссман, Пушкин, «Молодая гвардия», М. 1960, стр. 487.

² См.: Н. Я. Эйдельман, Десять автографов Пушкина из архива П. И. Миллера, «Записки Отдела рукописей» ГБЛ, вып. 33, «Книга», М. 1972, стр. 304—310.

жестких условиях. Этот шаг Пушкина был актом совершенно исключительным, не имеющим аналогий ни в одной из его прежних дуэльных историй — ни во времена молодости, ни в зрелые годы. Даже 4 ноября, после анонимного пасквилья, Пушкин отослал Дантесу вызов — без объяснения причин. После такого вызова возможны были переговоры и оставалась надежда на мирный исход. Теперь все должно было быть иначе. Он отрезал себе и своему противнику все пути назад¹. Пушкин не сомневался, что в ответ на его письмо последует вызов, и поэтому прежде всего познакомил с ним своего секунданта Владимира Соллогуба.

Мы знаем из воспоминаний В. Соллогуба (очень точных, даже в деталях), что вечером 21 ноября, когда он заехал к Пушкиным, хозяин дома сразу увел его в свой кабинет и там прочел ему свое письмо к Геккерну, которое, видимо, было написано совсем недавно. Пушкин был в таком порыве гнева, что молодой человек не осмелился ничего возразить ему. «Я промолчал невольно,— пишет Соллогуб,— и так как это было в субботу (приемный день кн. Одоевского), то поехал к кн. Одоевскому. Там я нашел Жуковского и рассказал ему про то, что слышал. Жуковский испугался и обещал остановить отсылку письма. Действительно, это ему удалось: через несколько дней он объявил мне у Карамзиных, что дело он уладил и письмо послано не будет»².

Итак, Жуковский — вот тот человек, благодаря вмешательству которого все уладилось. Каким образом? Соллогуб этого не знал.

По всей вероятности, Жуковский в тот же вечер успел повидаться с Пушкиным и приостановил отправку письма.

Дальнейший ход событий можно восстановить только гипотетически.

По-видимому, Жуковский понимал, что ему удалось лишь на какое-то время отсрочить дело. Видя, в каком состоянии находится Пушкин, он ни в чем не мог быть уверен. Все средства им уже были исчерпаны. Вот почему Жуковский решил прибегнуть к крайним мерам: он обратился к императору с просьбой вмешаться и предотвратить трагический исход событий. Судя по всему, что нам в настоящее время известно, инициатором аудиенции и был Жуковский.

Это предположение было высказано Эйдельманом сразу же после того, как он ознакомился с автографом пушкинского письма к

¹ Размеры статьи не позволяют более подробно говорить о событиях, предшествовавших 21 ноября, и о том, что побудило Пушкина написать эти письма.

² В. А. Соллогуб, Воспоминания, «Academia», М.—Л. 1931, стр. 370.

Бенкендорфу и заметками Миллера. С его мнением согласилась Я. Левкович¹.

Но если аудиенция состоялась по просьбе Жуковского, то и роль ее в дуэльной истории, очевидно, была совсем иной, чем это представлялось до сих пор...

Разговор Жуковского с Николаем I, по-видимому, состоялся в воскресенье, 22 ноября.

Правда, на первый взгляд может показаться, что данные камер-фурьерского журнала за 22 ноября 1836 года опровергают это предположение. Среди тех, кто посетил дворец в этот день, имя действительного статского советника Жуковского не значится. Однако при внимательном чтении камер-фурьерских журналов можно убедиться, что в них не фиксировались беседы и встречи высочайших особ, не предусмотренные церемониалом и официальным распорядком дня, носившие, так сказать, частный характер. Разговор воспитателя наследника с императором в кулуарах дворца вовсе не обязательно должен был отразиться в журнале высочайшего двора².

Заговорив 22 ноября с императором о деле Пушкина, Жуковский, очевидно, рассказал ему о только что предотвращенной дуэли. До сих пор он считал долгом чести хранить тайну вызова и требовал того же от самого поэта и от всех его друзей³. Но теперь, когда жизнь Пушкина снова оказалась под угрозой, когда Жуковский видел, к чему привело молчание, он вынужден был нарушить свое слово.

Зная щепетильность Жуковского, его привычки истинно порядочного человека, зная, с каким тактом он вел себя в продолжение всей ноябрьской истории, можно с большой долей вероятности предположить, что и на этот раз он сказал только то, чего нельзя было не сказать. Он наверняка сообщил об анонимных письмах (о чем все знали) и о последовавшем затем вызове Пушкина (что было

¹ См.: Я. Л. Левкович, Документальная литература о Пушкине (1966—1971 гг.), «Временник Пушкинской комиссии. 1971», «Наука», Л. 1973, стр. 58—59.

² Таких фактов можно указать множество. Вот, например, один из них. Мы знаем точно, что 28 января 1837 года в 10 часов утра Жуковский был в кабинете императора и беседовал с ним о Пушкине (см. «А. С. Пушкин в воспоминаниях современников», т. 2, стр. 357 и 349). Но в камер-фурьерском журнале, в записях за 28 января, имя Жуковского не упоминается (ЦГИАЛ СССР, ф. 516, оп. 1 (120/2322), д. 125).

³ См. письмо Жуковского Пушкину, написанное 11—12 ноября 1836 года (Пушкин, Полн. собр. соч., т. 16, Изд. АН СССР, М. 1949, стр. 185—186). В дальнейшем ссылки на это издание — в тексте, с указанием тома и страницы.

для императора совершенно неожиданной новостью). И конечно же, в разговоре с царем он должен был сделать упор на то, что Пушкин сам взял назад свой вызов, когда узнал о намерении Дантеса посвататься к Екатерине Гончаровой.

Излагая государю дело таким, каким оно было в действительности, Жуковский противопоставлял истину тем сплетням, которые уже широко распространились в обществе. Жуковский мог рассчитывать, что если царь узнает правду, это настроит его в пользу Пушкина.

В заключение Жуковский должен был сказать о том, что история может вот-вот возобновиться, так как в свете, где ничего не знают о причинах помолвки Дантеса, снова распространяются оскорбительные для Пушкина слухи. Жуковский мог просить государя вмешаться, остановить Пушкина царским словом...

Предположение о том, что 22-го Жуковский сообщил царю о несостоявшемся поединке, находит косвенное подтверждение в письмах императрицы и ее ближайшей подруги графини Бобринской.

Известное письмо императрицы к Бобринской от **23 ноября** («Со вчерашнего дня для меня все стало ясно с женитьбой Дантеса, но это секрет»)¹ комментаторы до сих пор ошибочно связывали с письмом Пушкина к Бенкендорфу, о котором будто бы стало известно до дворца в эти дни. Но, по всей вероятности, записка императрицы является прямым откликом на разговор Жуковского с государем, состоявшийся **22 ноября**. Конечно, сообщение о том, что неожиданное сватовство Дантеса было связано с вызовом, полученным от Пушкина, бросало новый свет на все это дело. Но, по-видимому, Жуковский, доверив императору тайну отмененного поединка, просил не разглашать ее, поэтому Александра Федоровна и пишет: «Но это секрет». Надо полагать, что она все же раскрыла его своей ближайшей подруге при личной встрече.

В недавно опубликованном письме Бобринской к мужу от **25 ноября** чувствуются отзвуки тех сведений, которые она получила от императрицы. Письмо целиком посвящено главной сенсации дня — женитьбе Дантеса, и, как справедливо отмечает Н. Востокова, опубликовавшая материалы из архива Бобринских, это письмо с **подтекстом**. В нем Софья Александровна высказала далеко не все, что знала (она ведь тоже обещала хранить «секрет»!).

¹ Впервые опубликовано Э. Герштейн («Новый мир», 1962, № 2, стр. 213), затем, с некоторыми уточнениями, М. Яшиным («Звезда», 1963, № 9, стр. 168; перевод с французского).

«Никогда еще с тех пор как стоит свет не подымалось такого шума, от которого содрогается воздух во всех петербургских гостиных,— пишет графиня Бобринская.— Геккерн-Дантес женится! Вот событие, которое поглощает всех и будоражит стоунтную молву... Он женится на старшей Гончаровой, некрасивой, черной и бедной сестре белолицей, поэтичной красавицы, жены Пушкина. Если ты будешь меня расспрашивать, я тебе отвечу, что ничем другим я вот уже целую неделю не занимаюсь (теперь понятно нетерпеливое желание императрицы поскорее сообщить важную новость подруге.— С. А.), и чем больше мне рассказывают об этой непостижимой истории, тем меньше я что-либо в ней понимаю»¹.

Судя по всему, Софья Александровна знает обе версии: идущую от Жуковского — о вынужденном сватовстве с целью избежать поединка — и сказку Геккерна о самопожертвовании Дантеса для спасения чести г-жи Пушкиной². Эти версии взаимно исключают друг друга, и графиня Бобринская, видимо, не может поверить до конца ни одной из них.

А далее в письме появляется интонация, которой мы не слышали еще ни в одном из откликов тех дней. «Это какая-то тайна любви, героического самопожертвования,— продолжает Бобринская,— это Жюль Жанен, это Бальзак, это Виктор Гюго. Это литература наших дней. Это возвышенно и смехотворно». Здесь явно ощущается ирония: «самопожертвование» под дулом пистолета представляется ей не столь уж героическим.

Затем, описав двусмысленное положение, в котором очутились Пушкин и его жена, а также молодой человек и невеста, Бобринская уже иным тоном, серьезно, но чрезвычайно кратко — явно о многом умалчивая — сообщает: «Анонимные письма самого гнусного характера обрушились на Пушкина. Все остальное — месть... Посмотрим, допустят ли небеса столько жертв ради одного отомщенного!»³

Итак, с точки зрения Бобринской, помолвка — следствие мести Пушкина (то есть вызова, угрозы поединка). Об этом она говорит намеками, не чувствуя себя вправе высказаться прямо. Бобринская в своем письме делает такой акцент на теме **отмщения** именно по-

¹ «Прометей», № 10, «Молодая гвардия», М. 1974, стр. 266.

² О сплетне, исходящей от барона Геккерна, см.: Анна Ахматова, О Пушкине, «Советский писатель», Л. 1977, стр. 111—118, а также в моей статье «К истории дуэли Пушкина» («Нева», 1974, № 5, стр. 194).

³ «Прометей», № 10, стр. 266—268.

тому, что ей уже стал известен от императрицы «секрет», сообщенный Жуковским.

2

Пушкин был на приеме в Аничковом дворце в понедельник 23 ноября в четвертом часу пополудни. В камер-фурьерском журнале об этом сказано так: «По возвращении (с прогулки.— С. А.) Его Величество принимал генерал-адъютанта графа Бенкендорфа и камер-юнкера Пушкина»¹. До сих пор считалось, что разговор императора с Пушкиным состоялся в неурочное время и что эта аудиенция будто бы нарушила обычный распорядок дня Николая I.

Но на самом деле ничего подобного не произошло. Время после прогулки было самым удобным для такой беседы и, конечно, было назначено заранее. Утром император работал с министрами, а вечером — после обеда — обычно не занимался делами и лишь иногда принимал тех, кто принадлежал к узкому кругу особо приближенных к нему лиц. Время после прогулки было наименее регламентированным, оно отводилось для «разных» дел. Кстати, именно в эти часы Николай I нередко принимал начальника III отделения Бенкендорфа (в частности, в интересующий нас период Бенкендорф был с докладом у императора после трех часов пополудни 16, 23 и 26 ноября).

23 ноября после трех часов император принял Бенкендорфа и Пушкина.

Вместе или порознь? Запись в камер-фурьерском журнале не дает ответа на этот вопрос. Но теперь, когда мы знаем, что шеф жандармов прямого отношения к этой аудиенции не имел, есть все основания усомниться: а присутствовал ли вообще он при этой беседе?

Судя по тому, что в этот день утром начальник III отделения еще не был с докладом у государя, можно думать, что сначала император принял графа, а потом Пушкина. Тот разговор, ради которого Пушкин был приглашен во дворец, уместнее было вести с ним наедине.

Конечно, беседа Пушкина с царем, состоявшаяся 23 ноября, была событием из ряда вон выходящим. Но необычным во всем этом было не время визита, а самый характер аудиенции, нарушавший прочно установившиеся при Николае I нормы придворной жизни. В эти годы на прием к государю можно было попасть либо по службе, либо в особых случаях, строго обусловленных этикетом: во

¹ ЦГИАЛ СССР, ф. 516, оп. 1 (120/2322), д. 123, л. 75об.

дворец являлись **представляться, благодарить, откланиваться**¹. Личные аудиенции, не носившие церемониального характера, были явлением чрезвычайным. О просьбах и прошениях Николаю I докладывали министры или люди, приближенные к нему. Правда, император нередко вмешивался в интимные и семейные дела тех, кто принадлежал к придворному кругу, но все подобные истории разыгрывались где-то за кулисами, а не на парадной сцене, не в официальной обстановке.

С Пушкиным все обстояло иначе. Личные контакты поэта с царем всегда оказывались вне общепринятой субординации. Так получилось и на этот раз. Решить дело Пушкина «по-отечески», как это принято было со своими, царь не мог. Пришлось назначать официальную аудиенцию и приглашать поэта в свой кабинет.

3

Для того, чтобы составить себе хоть некоторое представление о сути разговора, происходившего 23 ноября в Аничковом дворце, нужно прежде всего отказаться от ложных версий, которые уведят нас в сторону от того, что было в действительности.

Так, явно ошибочным оказалось предположение о том, что Пушкин во время этой встречи с императором выступил с обвинениями против Геккерна и назвал его автором анонимных писем².

О том, что это **не было сказано** 23 ноября, мы знаем от самого Пушкина. В своем январском письме, напоминая о том, что он решительно потребовал от Геккернов, чтобы они прекратили какие бы то ни было отношения с его семьей, Пушкин писал: «Только на этом условии согласился я не давать хода этому грязному делу и не обесчестить вас в глазах дворов нашего и вашего, к чему я имел и возможность и намерение» (XVI, 427). Теперь, когда вся история несколько прояснилась, стали понятнее и эти его слова. Зна-

¹ Именно в такой роли мы видим во дворце людей пушкинского круга, кроме тех, кто, как Жуковский и Виельгорский, несли постоянно придворную службу. В камер-фурьерском журнале за 1836 год читаем, например: «Камергер князь Вяземский благодарил за аренду...» (ЦГИАЛ СССР, ф. 516, оп. 1 (28/1618), д. 145, л. 243об.); «Князь Одоевский... благодарил...» (за звание камергера; там же, ф. 516, оп. 1 (120/2322), д. 123, лл. 73—75); «Господин Глинка... благодарил...» (там же, л. 234об.).

² Первым выразил сомнение в справедливости этого предположения Н. Эйдельман, обратив внимание на этическую сторону дела. По его мнению, Пушкин счел бы недостойным осведомлять о своих подозрениях правительство, раз он прямо не высказал все в лицо своему врагу (ведь письмо к Геккерну не было отослано!). См.: «Записки Отдела рукописей», вып. 33, стр. 312.

чит, во время аудиенции, когда он имел единственную в своем роде возможность откровенно говорить с императором, Пушкин не сказал ничего бесчестящего посланника. Сомневаться в искренности того, что он писал в этом последнем письме к Геккерну, нет никаких оснований.

Гораздо труднее выявить, что же было сказано во время этой аудиенции.

Сохранилось несколько отрывочных и очень неясных упоминаний о каком-то разговоре царя с поэтом, имеющим отношение к дуэльной истории. Все они идут из круга друзей Пушкина, но известны по большей части в чьем-либо пересказе.

Остановимся прежде всего на рассказе Вяземского, дошедшем до нас в передаче Бартенева. Барте́нев трижды по разным поводам пересказывал одно и то же сообщение Вяземского, основываясь на записи, сделанной в 1850-х годах. Текст при этом несколько варьировался, но суть его оставалась неизменной. И во всех случаях Барте́нев определенно указывал, что речь идет о разговоре, происходившем в **ноябре 1836 года**.

В 1865 году, в примечаниях к воспоминаниям В. Соллогуба, Барте́нев упомянул, ссылаясь на Вяземского, что Пушкин «в течение двухнедельного срока... имел случай видеться с государем и дал ему слово ничего не начинать, не предупредив его...»¹. Здесь Барте́нев относит разговор с государем к периоду двухнедельной отсрочки, данной Пушкиным Геккерну (к 4—17 ноября)

В 1888 году Барте́нев опубликовал это сообщение среди других воспоминаний Вяземских о Пушкине, причем поместил его после рассказа о сватовстве Дантеса. Теперь этот эпизод был изложен Барте́невым так: «После этого (то есть после помолвки.— С. А.) Государь, встретив где-то Пушкина, взял с него слово, что, если история возобновится, он не приступит к развязке, не дав знать ему наперед»².

И наконец, в 1902 году, говоря о письме к Бенкендорфу, Барте́нев прокомментировал его, опираясь на тот же рассказ Вяземского: «Пушкин написал его, исполняя обещание, данное в ноябре 1836 года Государю, уведомить его (через гр. Бенкендорфа), если ссора с Дантесом возобновится...»³

Барте́нев твердо запомнил, что дело происходило в ноябре и было связано с ноябрьской дуэлью, но когда именно состоялся раз-

¹ «Русский архив», 1865, № 5—6, стлб. 765. Здесь и ниже подчеркнута мной.

² «Русский архив», 1888, № 7, стр. 308.

³ «Русский архив», 1902, № 10, стр. 235.

говор с государем — он не знал. Не знал он также и того, что это было во дворце, в кабинете императора.

Во всех трех вариантах рассказа просвечивает один и тот же текст: во время этой встречи Пушкин дал слово государю... Но что именно он обещал — из записей Бартенева остается неясным. Нельзя же в самом деле считать вероятным, что Пушкин обещал предупредить царя о предстоящей дуэли!

Все разъяснилось, когда стало известным письмо Е. Карамзиной от 2 февраля 1837 года. Сообщая сыну о последних часах Пушкина, она писала: «После истории со своей первой дуэлью П[ушкин] обещал государю больше не драться ни под каким предлогом, и теперь, когда он был смертельно ранен, он послал доброго Жуков[ского] просить прощения у гос[ударя] в том, что он не сдержал слова...»¹ Нет сомнения в том, что Карамзина узнала обо всем от наиболее осведомленного в этом деле человека — от самого Жуковского. В письме Карамзиной содержатся наиболее достоверные сведения о ноябрьской беседе поэта с царем. Екатерина Андреевна, очевидно, знала об аудиенции: она совершенно точно называет время беседы: **после первой дуэли**. И конечно, вполне точно передает смысл того обещания, которое дал Пушкин 23 ноября: **не драться ни под каким предлогом...**

В связи с этим и запись Бартенева, после того как стало возможным скорректировать и уточнить ее при помощи другого документа, тоже приобрела значение весьма ценного свидетельства. Она дополняет сообщение Карамзиной. Во всех трех редакциях этой записи почти дословно повторяется одно и то же: упоминание о том, что Пушкин обещал **уведомить государя, если история возобновится** (в другом варианте: «если ссора с Дантесом возобновится...»).

Итак, царь взял с Пушкина обещание: **не драться ни под каким предлогом, но если история возобновится, обратиться к нему**. Значит, Николай I заверил Пушкина, что он лично вмешается в его дело....

Вот то небольшое, что нам известно об аудиенции 23 ноября из достоверных источников.

Что-то знала от Пушкина о его беседе с царем Евпраксия Николаевна Вульф (тогда уже баронесса Вревская). Но ее рассказы об этом были записаны М. Семевским в 1860-е годы. За тридцать лет, протекшие с того времени, в ее памяти многое спуталось. Е. Вревская, в частности, рассказывала, что Пушкин говорил ей накануне

¹ «Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов», Изд. АН СССР, М.—Л. 1960, стр. 170.

дуэли: «...Император, которому известно все мое дело, обещал мне взять их (детей.— С. А.) под свое покровительство...»¹. Слова об обещании Николая I позаботиться о детях, по всей вероятности, возникли в воображении Евпраксии Николаевны позднее — под влиянием многократно слышанных ею разговоров о «милостях», оказанных Николаем I детям поэта. Но в ее рассказе, кажется, звучит одна живая пушкинская фраза: «Императору... известно все мое дело...» Вот слова, которые она, вероятно, слышала от самого поэта: на эту тему толков в обществе не было никаких, а придумать это она вряд ли решилась бы.

Свидетельства Соллогуба, Карамзиной, Вяземского, Вревской, взятые в совокупности, убеждают нас прежде всего в том, что царь наблюдал за делом Пушкина с более близкой дистанции, чем это предполагалось до сих пор. О ноябрьской истории с Дантесом он узнал, вероятнее всего, не по официальным каналам, не из доклада Бенкендорфа, а со слов друга Пушкина — Жуковского. Получилось так, что император был вовлечен в это дело и принял в нем личное участие. Сказывалось коварство Николая I — с 22 ноября он знал не только о внешнем ходе событий, но и о том, что жизнь Пушкина под угрозой, — и тем не менее ничего не захотел сделать.

Реконструировать ход беседы поэта с царем на основании тех скудных сведений, которые нам известны, не представляется возможным. В данном случае допустимы лишь самые осторожные предположения.

Так как аудиенция закончилась благополучно, надо думать, что Николай I проявил определенную гибкость в этом разговоре. В тот момент, когда Пушкин был готов на все, повеление императора не могло бы его остановить. Должно было быть сказано что-то такое, что как-то разрядило бы напряженность. По-видимому, царь заверил Пушкина, что репутация Натальи Николаевны безупречна в его глазах и в мнении общества и, следовательно, никакого серьезного повода для вызова не существует. Это, кстати, император мог сказать с полной убежденностью, так как и после дуэли писал брату, что жена поэта была во всем совершенно невинна. Если нечто подобное было сказано 23 ноября, то это было для Пушкина очень важно.

Можно также предположить, что в этом разговоре не были затронуты подробности его семейных обстоятельств. Скорее всего царь, сославшись на Жуковского, сказал Пушкину, что знает все де-

¹ «Русский вестник», 1869, т. 84, стр. 91.

ло. А то, что правда о его ноябрьской истории с Дантесом стала известна, должно было иметь для Пушкина очень серьезное значение. Он мог надеяться, что теперь клевете будет противопоставлена истина.

В заключение Николай I, вероятно, прибег к формуле, уже знакомой нам по его прежним переговорам с поэтом: «Я твоему слову верю... обещаю тебе...» И Пушкин дал слово не доводить дело до дуэли. Вероятно, в тот момент, как и прежде в подобных ситуациях, он был искренен. Еще раз возникла иллюзия насчет справедливости, исходящей от царя. Император знал правду, и Пушкин мог рассчитывать, что мнение царя будет противостоять клевете. У него появилась надежда на то, что он все-таки сможет с достоинством выйти из создавшегося положения. На какое-то время она могла служить ему поддержкой.

Ближайшие результаты аудиенции, судя по всему, что нам известно, были благоприятны. Жуковский, видимо, твердо полагался на слово, данное Пушкиным. Угроза дуэли, казалось, была устранена.

4

Но события 23 ноября имели и другие, далеко идущие последствия.

Шло время, а Геккерны не получили никакого предупреждения, им не было сделано ни малейшего намека на неудовольствие государя поведением Дантеса. Если бы нидерландскому посланнику, столь дорожившему своим дипломатическим постом в России, стало известно что-нибудь на этот счет, он, несомненно, принял бы меры к тому, чтобы приструнить молодого человека.

Более того, можно думать, что именно слухи об аудиенции в Аничковом дворце, дошедшие до Геккернов, в какой-то мере развязали им руки.

Ноябрьская дуэльная история послужила для Дантеса хорошим уроком, и он на время утратил свою самоуверенность.

Но в конце декабря, когда Дантес после болезни снова появился в гостиных, он почти отбросил осторожность. Он уже успел убедиться, что сочувствие общества целиком на его стороне («Бедный Дантес...», «Он принес себя в жертву...», «Какое великодушные...» — твердили все вокруг). К этому времени Геккерны, несомненно, узнали и о том, что Пушкин дал слово государю «не драться ни под каким предлогом». Об обещании, данном Пушкиным царю, мог рассказать Дантесу и Александр Карамзин, и Ва-

дуевы, и, что самое вероятное, его невеста Екатерина Гончарова. Не это ли и внушило Дантесу уверенность в полной безнаказанности, в том, что дуэли больше не будет?

Дантес, как мы знаем, был человек «практический»: им руководили не только страсти, но и расчет. Его поведение в январе — после свадьбы — во многом предопределено этим сознанием безнаказанности.

Позиция, занятая царем, бесспорно, оказала воздействие на развитие событий. Зная все дело, Николай I не сказал своего слова, а избрал роль «наблюдателя». Каков был ее результат, показала январская трагедия.

Однако в какой-то момент царь все-таки вмешался и сделал это весьма своеобразно: он обратился с «отеческими» наставлениями к жене поэта. Об этом разговоре с Н. Н. Пушкиной император рассказал много лет спустя барону М. Корфу, который сразу же записал то, что услышал, стараясь быть предельно точным. В его дневнике эта запись выглядит как дословный рассказ Николая I:

«Под конец его (Пушкина.— С. А.) жизни, встречаясь часто с его женою, которую я искренне любил и теперь люблю как очень добрую женщину, я раз как-то разговорился с нею о комеражах <сплетнях>, которым ее красота подвергает ее в обществе; я советовал ей быть как можно осторожнее и беречь свою репутацию сколько для нее самой, столько и для счастья мужа при известной его ревности. Она видно рассказала это мужу, потому что, увидаясь где-то со мной, он стал меня благодарить за добрые советы его жене.— Разве ты и мог ожидать от меня иного? — спросил я его.— Не только мог, государь, но, признаюсь откровенно, я и вас самих подозревал в ухаживании за моею женой.— Через три дня потом был его последний дуэль»¹.

Этот очень любопытный документ часто цитируется, но он пока не получил убедительного истолкования. Не определено и место этого эпизода в хронологической цепи событий.

Дело в том, что от нас ускользает реальная значимость фактов, о которых мы узнаем из воспоминаний императора, так как они предстают здесь в определенном освещении: в том, в каком их хотел видеть царь через одиннадцать лет после смерти поэта. Хотя у Николая I была превосходная память и он, несомненно, рассказывал о событиях, действительно имевших место, однако акценты в его рассказе явно смещены.

¹ «Русская старина», 1899, т. 99, стр. 310—311. С некоторыми уточнениями перепечатано в статье М. Яшина («Звезда», 1963, № 9, стр. 167).

Тот разговор с женой поэта, о котором с таким благодушием вспоминал много лет спустя царь, для самой Натальи Николаевны должен был быть крайне мучительным. В какую бы форму ни облек император свои «советы», то, что он обратился к ней с замечанием по поводу ее поведения и репутации, было ужасно. Как отметила Ахматова, очень точно прокомментировавшая этот эпизод, все это значило, что «по-тогдашнему, по-бальному, по-зимне-дворскому жена камер-юнкера Пушкина вела себя неприлично»¹.

И слова благодарности, с которыми обратился к царю Пушкин, не случайно запомнились Николаю I навсегда. То, что сказал поэт, в сущности, было невысказанной дерзостью. Примерно так же поблагодарил Пушкин за три года до этого великого князя Михаила Павловича, поздравившего его с камер-юнкерством: «Покорнейше благодарю, Ваше Высочество; до сих пор все надо мною смеялись, вы первый меня поздравили». В благодарственных словах поэта, записанных в 1848 году Корфом, угадывается та же игра в простодушие, едва прикрывающая откровенную дерзость. С членами императорской семьи никто, кроме Пушкина, не осмеливался говорить в таком тоне. Недаром Николай I так хорошо запомнил эти слова, так же как и тот его беспримерный по прямоте ответ 1826 года на вопрос о 14 декабря (характерно, что из всех своих разговоров с Пушкиным царь вспоминал именно эти два: первый и последний, — особенно поразившие его).

Император рассказывал, что его последняя беседа с поэтом происходила за несколько дней до дуэли. Биографы полагают, что он ошибся. Так, М. Яшин уверенно относит этот разговор к 23 ноября, а беседу с Натальей Николаевной о «комеражах» — к 15-му (на том основании, что вечером 15 ноября жена поэта была в Аничковом дворце, где государь мог поговорить с ней)². Но с такой датировкой этих эпизодов никак нельзя согласиться, она не подтверждается никакими серьезными аргументами. Николай I не раз встречал Пушкину на придворных балах и в свете в ноябре и в декабре 1836 года (среди бесспорных дат, определяемых по камер-фурьерским журналам, можно назвать: 29 ноября, 6 декабря, 22, 25, 26 декабря). Причем из всех возможных случаев, когда император мог таким образом беседовать с женой поэта, как раз вечер 15 ноября был наименее вероятным.

Это был первый бал в Аничковом после возвращения двора в Петербург из летней резиденции, и в этот вечер Пушкина была гостьей в собственном их величеств дворце впервые после очень

¹ Анна Ахматова, О Пушкине, стр. 120.

² Михаил Яшин, Хроника преддуэльных дней, «Звезда», 1963, № 9, стр. 167.

долгого перерыва¹. Для того, чтобы заговорить с замужней женщиной о ее репутации во время первого бала зимнего сезона, нужно было иметь достаточно серьезный повод. Но к этому времени великосветская сплетня еще не получила широкого распространения.

Слухи о Пушкиных и Дантесе стали злобой дня после 17 ноября, когда в свете узнали о помолвке молодого человека. До тех пор для разговора, о котором вспоминал император, не было оснований.

О том, что разговор о «комеражах» не мог состояться 15 ноября, говорит и письмо императрицы к Бобринской, написанное на следующий день. (Это письмо было опубликовано Э. Герштейн без точной даты², но его оказалось возможным датировать 16 ноября по записям в камер-фурьерских журналах³). В нем императрица рассказывает Бобринской о вчерашнем бале, на котором Софья Александровна почему-то не была: «Я так боялась, что этот бал не удастся, что он навеет на меня столько воспоминаний. Но все шло лучше, чем я могла думать.— Было как будто весело. Пушкина казалась прекрасной волшебницей в своем белом с черным платье...»⁴ И далее Александра Федоровна перечисляет поименно красавиц, украсивших этот вечер своим присутствием, характеризуя каждую из них. Имя Пушкиной, как видим, названо первым в этом ряду.

Если бы тот трудный для Натальи Николаевны разговор состоялся на этом бале, он бы не прошел мимо внимания императрицы, и она, конечно, прокомментировала бы его (такие «сенсации» всегда вызывали живейший интерес в этом интимном дамском кружке). В таком случае имя жены поэта было бы упомянуто в ином контексте. Но та интонация полной безмятежности, с какой в письме

¹ М. Яшин убедительно доказал, что с марта по ноябрь 1836 года Пушкина не бывала на придворных балах (ее присутствие отмечено лишь на бале в Красном Селе 31 июля). См.: «Звезда», 1963, № 8, стр. 170; № 9, стр. 167.

² Эмма Герштейн, Вокруг гибели Пушкина, «Новый мир», 1962, № 2, стр. 213.

³ Дата определяется следующим образом. В письме речь идет о бале, который состоялся вскоре после возвращения двора в столицу. Императрица упоминает среди присутствующих Н. Пушкину, Барятинскую, Мари Трубецкую, Аннет Бенкендорф, Е. Белосельскую, Вишнякову, А. Трубецкого. По камер-фурьерским журналам за ноябрь и декабрь 1836 года видно, что бал, на котором были все перечисленные особы, но отсутствовала Бобринская, состоялся в воскресенье — 15 ноября, следовательно, письмо свое императрица написала в понедельник — 16-го (ЦГИАЛ СССР, ф. 516, оп. 1 (120/2322), д. 123—124).

⁴ «Новый мир», 1962, № 2, стр. 213.

императрицы говорится о Пушкиной, еще раз убеждает нас в том, что в этот вечер она выделялась на бале лишь своей «волашебной» красотою.

15 ноября в Аничковом дворце были также Жуковский, Виельгорский, Александр Карамзин, братья Росsetы¹, но никто из них, судя по их письмам, рассказам, тоже ничего не заметил.

Предположение о том, что император 15 ноября на бале наставлял Пушкину, как ей надлежит вести себя, чтобы не уронить свою репутацию, противоречит всему, что мы знаем о событиях тех дней. Разговор, о котором Николай I вспоминал в 1848 году, наверняка происходил позже.

Пока у нас нет возможности точно датировать этот эпизод. Наиболее вероятной следует считать ту дату, которую называет сам Николай I: скорее всего это произошло в январе — незадолго до последней дуэли. По мнению Ахматовой, это и могло стать «последней каплей». «Замечание, которое сделал Николай I жене Пушкина относительно ее поведения, было последним ударом»², — писала она. Действительно, реакция Пушкина в этом случае должна была быть ужасной.

Странно, что мы ничего не знаем о том, как Пушкин отнесся к неожиданному вмешательству императора. Может быть, не знаем именно потому, что это произошло накануне дуэли, когда он избегал разговоров с близкими друзьями?..

Бревская, с которой он виделся тогда, когда уже все было им решено, запомнила его слова: «Императору... известно все мое дело...»

То, что мучило Пушкина в эти последние дни, безотчетно для него самого прорвалось и в письме, которое он написал 26 января К. Толю.

Это письмо было ответом на доброжелательный отзыв генерала Толя об «Истории Пугачевского бунта», полученный Пушкиным 25 января. То есть оно было обычной для такого случая данью вежливости. Но случилось так, что письмо к Толю стало ценнейшим психологическим документом, свидетельствующим о душевном состоянии поэта накануне поединка.

26 января, обращаясь к человеку, в сущности, очень далекому от него, Пушкин непроизвольно высказал то, что особенно волновало его в тот момент. В письме к генералу Толю есть удивительные слова, почти не связанные с основным текстом, которые как будто выплеснулись из потока внутренней речи...

¹ ЦГИАЛ СССР, ф. 516, оп. 1 (120/2322), д. 123, лл. 52об.—54об.

² Анна Ахматова, О Пушкине, стр. 119, 133.

Главной в этом благодарственном письме стала **тема клеветы**. На замечание Толя о недооцененных заслугах екатерининского генерала Михельсона поэт ответил с горячностью, которая, конечно, была вызвана личными ассоциациями: «Его заслуги были затемнены клеветою; не лезь без негодования видеть, что́ должен он был претерпеть от зависти или неспособности своих сверстников и начальников. Жалею, что не удалось мне поместить в моей книге несколько строк пера Вашего для полного оправдания заслуженного воина». И далее разговор о клевете переходит уже в иной план, Пушкин пишет: «Как ни сильно предубеждение невежества, как ни жадно приемлется клевета; но одно слово, сказанное таким человеком, каков Вы, навсегда их уничтожает. Гений с одного взгляда открывает истину, а **истина сильнее царя**, говорит священное писание» (XVI, 224)¹. Все это уже не о Михельсоне — это мысли о своей собственной судьбе. Вполне понятные ассоциации вернули Пушкина к тому, о чем он думал все это время... **Как ни жадно приемлется клевета, но одно слово...** могло бы ее уничтожить... А затем логический провал, столь несвойственный эпистолярному стилю Пушкина, как некий бросок над безной переломанного — к итогу: «**Истина сильнее царя**»...

Это, несомненно, письмо с необычайно значительным подтекстом. Здесь мысли о клевете, которую жадно подхватывает толпа, ассоциируются с мыслями о царе, о гении, о конечном торжестве истины. Вероятно, мы никогда не сможем разгадать до конца смысл того, что в этом письме недосказано. Но кое-что поддается расшифровке.

Остановимся прежде всего на чрезвычайно важном обстоятельстве: за день до дуэли Пушкин совершенно определенно высказал свое убеждение в том, что **клевету можно остановить и даже уничтожить навсегда**, если против нее возвысит голос человек, чье мнение будет услышано в обществе. В его деле такое слово не было сказано, хотя царь знал все.

Неожиданное упоминание о царе в этом контексте говорит о каких-то невысказанных обидах Пушкина и о том, что эти мысли не оставляли его.

То, что он написал о **гении и царе**, при всей афористической отвлеченности сказанного, для него самого, по-видимому, было исполнено вполне конкретного смысла. Толь писал о том, что после смерти Михельсона история наконец воздала ему справедливость. Пушкин в эти дни тоже думал о суде истории и, вероятно, верил,

¹ Подчеркнуто Пушкиным.

что для потомства **истина** окажется сильнее сегодняшней клеветы, **сильнее царя**.

Линия поведения Николая I в деле Пушкина не была, конечно, единственной причиной январской трагедии. В отношении царя к Пушкину с наибольшей очевидностью выявляются приметы той общественной атмосферы, которая привела к гибели поэта.

г. Ленинград



11 1978 ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Основан в 1957 году

Ежемесячный журнал

Орган Союза писателей СССР и Института мировой литературы
имени А. М. Горького Академии наук СССР

СОДЕРЖАНИЕ

ЖИЗНЬ. ИСКУССТВО. КРИТИКА

- Черты современной прозы
3 В. КАМЯНОВ. Взамен трагедии
-
- 41 С. ДАНГУЛОВ. Осенние Эльбрусом (Этюды о поэтах)
- Современный литературный процесс и фольклор
- 82 В. ЯКИМЕНКО. Границы и возможности
- 105 К. СУЛТАНОВ. Сложность и многообразие связей

ИДЕОЛОГИЯ. ЭСТЕТИКА. КУЛЬТУРА

- 129 Н. ПАВЛОВА. Безысходность нигилизма и отчужденное творчество (Готфрид Венн)
- 149 Девятая московская (С совещания главных редакторов литературно-художественных журналов социалистических стран)

ТЕОРИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РАЗМЫШЛЕНИЯ

- 164 А. ГУРЕВИЧ. Типологическая общность и национально-историческое своеобразие

ПУБЛИКАЦИИ. ВОСПОМИНАНИЯ. СООБЩЕНИЯ

- 188 А. КРОН. О сверстниках

Н О Я Б Р Ь



«Известия»

МОСКВА